Игрушечного дела людишки

В 184* году я жил в одной из северных губерний России. Жил, то есть состоял на службе, как это само собой разумелось в то время. И при этом всякие дела делал: возлежал на лоне у начальника края, танцевал котильон с губернаторшей, разговаривал с жандармским штаб-офицером о величии России и, совместно с управляющим палатой государственных имуществ, плакал горючими слезами, когда последний удостоверял, что будущее принадлежит окружным начальникам. И, что всего важнее, ужасно сердился, когда при мне называли окружных начальников эмиссарами Пугачева. Одним словом, проводил время не весьма полезно.

В то время, вблизи губернского города, процветал (а быть может, и теперь процветает) уездный городок Любезнов, куда я частенько-таки езжал, во-первых, потому что праздного времени было пропасть, а во-вторых, потому, что там служил, в качестве городничего, мой приятель, штабс-капитан Вальяжный, а у него жила экономка Аннушка. Эта Аннушка была премилая особа, и, признаюсь, когда мне случалось пить у Вальяжного чай или кофе, то очень приятно было думать, что предлагаемый напиток разливала девица благоутробная, а не какая-нибудь пряничная форма. Но, впрочем, только и всего. Хотя же и был на меня донос, будто б я езжу в Любезнов «для лакомства», но, ввиду моей беспорочной службы, это представляло так мало вероятия, что сам его превосходительство собственноручно на доносе написал: «Не верю; пусть ездит».

Подобно тому, как у любого отца семейства всегда бывает особенно надежное чадо, о котором родители говорят: «Этот не выдаст!» — подобно сему и у каждого губернатора бывает свой излюбленный город, который его превосходительство называет своею «гвардией» и относительно которого сердце его не знает никаких тревог. Об таких городах ни в губернаторской канцелярии, ни в губернском правлении иногда по целым месяцам слыхом не слыхать. Исправники в них — непьющие; городничие — такие, что две рюмки вставши, да три перед обедом, да три перед ужином — и сами говорят: «Баста!», городские головы — такие, что только о том и думают, как бы новую пожарную трубу приобрести или общественный банк устроить, а обыватели — трудолюбивые, к начальству ласковые и к уплате податей склонные.

К числу таких веселящих начальственные сердца муниципий принадлежал и Любезнов. Я помню, губернатор даже руки потирал, когда заводили речь об этом городе. «За Любезнов я спокоен! Любезновцы меня не выдадут!» —

восклицал его превосходительство, и все губернское правление, в полном составе, вторило: «Да, за Любезнов мы спокойны! Любезновцы нас не выдадут!» Зато, бывало, как только придет из Петербурга циркуляр о принятии пожертвований на памятник Феофану Прокоповичу или на стипендию имени генерал-майора Мардария Отчаянного, так тотчас же первая мысль: поскорее дать знать любезновцам! И точно: не успеет начальство и оглянуться, как исправник Миловзоров уже шлет 50 коп., а городничий Вальяжный — целых 75 коп. Тогда как из Полоумного городничий с тоской доносит, что, по усиленному его приглашению, пожертвований на означенный предмет поступила всего 1 копейка… Да еще испрашивает в разрешение предписания, как с одной копейкой поступить, потому-де что почтовая контора принимает к пересылке деньги лишь в круглых суммах!

Любезнов был городок небольшой, но настолько опрятный, что только разве в самую глухую осень, да и то не на всех его улицах, можно было увязнуть. В нем был общественный банк, исправная пожарная команда, бульвар на берегу реки Любезновки, небольшой каменный гостиный двор, собор, две мощеные улицы — одним словом, все, что может веселить самое прихотливое начальническое сердце. Но главным украшением города был городской голова. Этот замечательно деятельный человек целых пять трехлетий не сходил с головства и в течение этого времени неуклонно задавал пиры губернским властям, а местным — кидал подачки. С помощью этой внутренней политики он и сам твердо держался на месте, и в то же время содержал любезновское общество в дисциплине, подходящей к ежовым рукавицам. И вот, быть может, благодаря этим последним, в Любезнове процвели разнообразнейшие мастерства, которые сделали имя этого города известным не только в губернии, но и за пределами ее.

Этот блестящий результат был, однако ж, достигнут не без труда. Есть предание, что Любезнов некогда назывался Буяновым и что кличка эта была ему дана именно за крайнюю необузданность его обывателей. Было будто бы такое время, когда любезновцы проводили время в гульбе и праздности и все деньги, какие попадали им в руки, «крамольным обычаем» пропивали и проедали; когда они не токмо не оказывали начальству должных знаков почитания, но одного из своих градоначальников продали в рабство в соседний город (см. «Северные народоправства», соч. Н. И. Костомарова). Даже и доднесь наиболее распространенные в городе фамильные прозвища свидетельствуют о крамольническом их происхождении. Таковы, например, Изуверовы, Идоловы, Строптивцевы, Вольницыны, Непроймёновы и т. д. Так что несколько странно видеть какого-нибудь Идолова, которого предок когда-то градоначальника в рабство продал, а ныне потомок постепенными мерами до того доведен, что готов, для увеселения начальства, сам себя в рабство задаром отдать.

К счастию для Буянова, случилось сряду четыре удачных и продолжительных головства, которые и положили конец этой неурядице. Первый из этих удачных градских голов дал городу раны, второй — скорпионы, третий — согнул в бараний рог, а четвертый познакомил с ежовыми рукавицами. И, независимо от этого, все четверо прибегали и к мерам кротости, неослабно внушая приведенным в изумление гражданам, что человек рожден для трех целей: во-первых, дабы пребывать в непрерывном труде; во-вторых, дабы снимать перед начальством шапку, и в-третьих, — лить слезы. Повторяю: результат оказался блестящий. Изуверовы, вместо того, чтобы заниматься «противодействиями», занялись изобретением perpetuum mobile [вечного двигателя *(лат.)*], и в ожидании, покуда это дело выгорит, работали самокаты и делали какие-то особенные игрушки, которые «чуть не говорят»; Идоловы, прекратив «филантропии», избрали специальностью сборку деревянных часов, которые в сутки показывали двое суток, но и за всем тем, как образчик русской смекалки, могли служить поводом для размышлений о величии России; Строптивцевы, бросив «революции», изобрели такие шкатулки, до которых нельзя было дотронуться, чтобы по всему дому не пошел гвалт и звон; а один из Непроймёновых, занявшийся торговлей муравьиными яйцами (для кормления соловьев), до того осмелился, что написал даже диссертацию «О сравнительной плотности муравьиных яиц» и, отослав оную в надлежащее ученое общество (вместе с удостоверением, что недоимок за ним не состоит), получил за сие диплом на звание члена-соревнователя.

И вот, когда город совсем очистился от крамолы и все старые недоимки уплатил, когда самый последний из мещан настолько углубился в свою специальность, что буйствовать стало уж некогда, а впору было платить дани и

шапки снимать, — случилось нечто торжественное и чудное! Обыватели, созванные на вече (это было последнее вече, после которого вечевой колокол был потоплен в реке) городским головой Вольницыным, принесли публичное покаяние, а затем, в порыве чувств, единогласно постановили: просить вышнее начальство, дабы имя Буянова из географии Арсеньева исключить, а город ихний возродить к новой жизни под именем Любезнова…

Нужно ли прибавлять, что ходатайство сие было уважено?

Повторяю: в 184* году Любезнов ни о каких «народоправствах» уже не думал, а просто принадлежал к числу городов, осужденных радовать губернаторские сердца. А так как времена были тогда патриархальные, то члены губернского синклита частенько-таки туда езжали, во-первых, чтобы порадоваться на трудолюбивых и ласковых мещан, а во-вторых, чтобы попить и поесть у гостеприимного головы. Следуя общему настроению умов, ездил туда и я.

Однажды приезжаю прямо к другу моему, Вальяжному, и уже на лестнице слышу, что в городнической квартире происходит что-то не совсем обычное. Отворяю дверь и вижу картину. Городничий стоит посреди передней, издавая звуки и простирая длани (с рукоприкладством или без оного — заверить не могу), а против него стоит, прижавшись в угол, довольно пожилой мужчина, в синем кафтане тонкого сукна, с виду степенный, но бледный и как бы измученный с лица. Очевидно, это был один из любезновских граждан, который до того уж проштрафился, что даже голова нашел находящиеся в его руках меры кротости недостаточными и препроводил виновного на воздействие предержащей власти.

— Степан Степаныч! голубчик! — воскликнул я, приветствуя дорогого хозяина, — а мы-то в губернии думаем, что в Любезнове даже самое слово «расправа» упразднено!

— Да… вот… — сконфузился было Вальяжный, но тотчас же поправился и, обращаясь к стоявшим тут «десятникам», присовокупил: — Эй! бегите в лавку за Твердолобовым, да судья чтобы… В бостончик? — обратился он ко мне.

— С удовольствием.

— Отлично. Милости просим! А я — вот только кончу!

И покуда я разоблачался (дело было зимой), он продолжал суд.

— Говори! почему ты не хочешь с женой «жить»? Вальяжный остановился на минуту и укоризненно покачал головой. Подсудимый молчал.

— И баба-то какая… Давеча пришла… печь печью! Да с этакой бабой… конца-краю этакой бабе нет! А ты!! Ах ты, ах!

Но подсудимый продолжал молчать.

— Да ты знаешь ли, что даже в книгах сказано: «Муж, иже жены своея…» — хотел было поучить от Писания Вальяжный, но запнулся и опять произнес: — Ах-ах-ах!

Мещанин продолжал переминаться с ноги на ногу, но на лице его постепенно выступало какое-то бесконечно-тоскливое выражение.

— Говори! что ж ты не говоришь?

— Что же я, вашескородие, скажу?

— Будешь ли «жить» с женой как следует… как закон велит? Говори!

Подсудимый несколько секунд помолчал и наконец вдруг заметался.

— Вашескородие! Мне не токма что говорить, а даже думать… увольте меня, вашескородие!

— А коли так — марш в холодную! И завтра чтобы без разговоров! А будешь разговаривать — так вспрысну, что до новых веников не забудешь! Марш!

И, помахав (чтоб крепче было) у подсудимого под носом указательным перстом, Вальяжный приказал его увести и затем, обратившись ко мне, протянул обе руки и воскликнул:

— Ну, вот вы и к нам! очень рад! очень рад! Аннушка! чаю!

До бостона я с полчаса спорил с Вальяжным. Он говорил, что «есть в законах»; я говорил, что «нет в законах». Послали за письмоводителем — тот ответил надвое: «Сам не видал, а, должно быть, где-нибудь да есть». Аннушка, вслушавшаяся в наш разговор, тоже склонялась в пользу того мнения, что где-нибудь да должно быть: «Потому, ежели они теперича в браке, то какие же это будут порядки, если жена своево положения от мужа получать не будет». Даже подоспевший к бостону судья — и тот сказал, что нужно где-нибудь в примечаниях поискать, потому что иногда где не чаешь, там-то именно и обретешь сокровище. Кончилось тем, что Вальяжный приказал письмоводителю к завтраму отыскать закон и в заключение прибавил:

— А ночь он пускай в холодной посидит! Там что еще окажется, а ему — наука!

В течение вечера дело хотя и недостаточно, но все-таки слегка для меня объяснилось. Обвиняемый был любезновский мещанин, Никанор Сергеев Изуверов, имевший в городе лучшую игрушечную мастерскую. Человек трезвый, трудолюбивый и послушливый, он представлял собой идеал обывателя, каким ему перед богом и Страшным его судом предстать надлежит. Слава об его мастерстве доходила некоторым образом даже до столиц, потому что всякий заезжий по делам службы столичный чиновник или офицер считал своею обязанностью поощрить «самородка» и приобрести у него несколько особенно хитрых игрушечных механизмов. Говорили, что он не игрушки делает, а «настоящих деревянных человечков». И еще говорили, что если бы всех самородков, в недрах земли русской скрывающихся, откопать, то вышла бы такая каша, которой врагам России и вовек бы не расхлебать.

Изуверов до сорока лет прожил одиноко с старухой матерью. Всецело углубившись в свою специальность, он, по-видимому, даже не ощущал потребности в обществе жены; но лет пять тому назад старуха мать умерла, и Изуверова попутал бес. Некому было шти сготовить, некому — заплату на штаны положить. Он затосковал и начал было даже попивать. В это время под руку подвернулась двадцатипятилетняя девица Матрена Идолова, рослая, рыхлая, как будто нарочно созданная, чтобы горшки из печи ухватом таскать. Изуверов решился. Он даже радовался, что у него будет жена сильная, печь печью; думал, что при сильной бабе в доме больше порядку будет. Но, увы! Матрена с первых же шагов заявила наклонность не столько к тасканию горшков из печи, сколько к тому, чтобы муж вел себя относительно ее как дамский кавалер. И так как Никанор Сергеев, по-видимому, к роли дамского угодника чувствовал призвание очень слабое, то немедленно же обнаружилась полнейшая семейная неурядица, а под конец дело дошло и до разбирательства полиции.

Разумеется, на другой день письмоводитель доложил, что «в законах нет». Но, кроме того, оказалось и еще кое-что, а именно, что даже «вспрыснуть» Изуверова нельзя, так как закон на этот раз гласил прямо, что мещане, яко образованные, от телесных воздействий освобождаются. Поэтому Изуверова тогда же выпустили, а жене его Вальяжный объявил кратко: «Закона нет».

Результат этого я отчасти приписываю себе. Конечно, я был тут орудием случайным и даже страдательным, но все-таки, в качестве чиновника из губернии, в известной мере олицетворял авторитет. Я убежден, что, не наткнись я на сцену и не возбуди вопроса о том, есть ли в законе, или нет, никто (и всех меньше сам Изуверов) и не подумал бы об этом. Никанор Сергеев не только высидел бы в холодной свое «положенное», но, наверное, был бы и

«вспрыснут». Много-много, если бы Вальяжный перед «вспрыснутием» сказал бы: «А ну, образованный, ложись!» Это был бы единственный компромисс, который он допустил бы в свидетельство, что в городническом правлении, действительно, имеется шкап, в котором, в качестве узника, заключен закон.

К стыду моему, я должен сознаться, что, очень часто слыша о необыкновенных способностях Изуверова, я до сих пор еще ни разу не полюбопытствовал познакомиться с произведениями его мастерства. Поэтому теперь, когда, помимо его репутации, меня заинтересовала самая личность «самородка-механика», я счел уже своею обязанностью посетить его и его заведение.

Домик, в котором жил Изуверов, стоял в одной из пригородных слобод и почти ничем не отличался от соседних домов. Такой же чистенький, словно подскобленный, так же о трех окнах и с таким же маломерным двором. Вообще мастерские и ремесленные слободы Любезнова были распланированы и обстроены с изумительным однообразием, так что сами граждане в шутку говаривали: «Точно у нас каторга!» В домиках с утра до ночи шла неусыпающая деятельность; все работали: и взрослые, и подростки, и малолетки, и мужеск, и женск пол; зато улицы стояли пустынные и безмолвные.

Я застал хозяина в мастерской одного. Изуверов принял меня с каким-то робким радушием и показался мне чрезвычайно симпатичным. Лицо его, изжелта-бледное и слегка изнуренное, было очень привлекательно, а в особенности приятно смотрели большие серые глаза, в которых, от времени до времени, проблескивало глубоко тоскливое чувство. Тело у него было совсем тщедушное, так что сразу было видно, что ему на роду написано: не быть исправным кавалером. Плечи узкие, грудь впалая, руки худые, безволосые, явно непривычные к тяжелой работе. Когда я вошел, он стоял в одной рубахе за верстаком и суетливо заторопился надеть армяк, который висел возле на гвоздике. На верстаке лежала кукла, сделанная вчерне. Плешивая голова без глаз; вместо груди и живота — две пустые коробки, предназначенные для помещения механизма; деревянные остовы рук и ног с обнаженными шалнерами.

Я, конечно, видал в своей жизни великое множество разоренных кукол, но как-то они никогда не производили на меня впечатления. Но тут, в этой насыщенной «игрушечным делом» атмосфере, меня вдруг охватило какое-то щемящее чувство, не то чтобы грусть, а как бы оторопь. Точно я вошел в какое-то совсем оголтелое царство, где все в какой-то отупелой безнадежности застыло и онемело. Это последнее обстоятельство было в особенности тяжко, потому что немота именно заключает в себе что-то безнадежное. Так что мне ужасно жалким показался этот человек, который осужден проводить жизнь в

этом застывшем царстве, смотреть в просверленные глаза, начинять всякой чепухой пустые груди и направлять всю силу своей изобретательности на то, чтобы руки, приводимые в движение замаскированным механизмом, не стучали «по-деревянному», а плавно и мягко, как у ханжей и клеветников, ложились на перси, слегка подправленные тряпкой и ватой и, «для натуральности», обтянутые лайкой.

— Как живете? — приветствовал я хозяина.

— Тихо-с. Смирно у нас здесь-с. Прохор Петрович (голова) такую в нашем городе тишину завел, что, кажется, кабы не стучал станок — подумал бы, что и сам-то умер.

— Скучно?

— Не скучно-с, а как будто совсем нет ничего: ни скуки, ни веселости — одна тишина-с. Все мы здесь на равных правах состоим, точно веревка скрозь продернута. Один утром проснулся; за веревку потянул — и все проснулись; один за станок стал — и все стали. Порядок-с.

— Что ж, это хорошо. Порядок и притом тишина — это прежде всего. Оттого и начальники, глядя на вас, радуются; оттого и недоимок на вас нет. А присем, весьма возможно, что и порочиые наклонности ваши, не встречая питания…

К счастию, я поперхнулся на этом слове, и когда откашлялся, то потерял нить, и, таким образом, учительное настроение как-то само собой оставило меня.

— Вы, сказывали мне, игрушечным мастерством занимаетесь? И притом какие-то особенные, отличнейшие куклы работаете?

— Хвалить себя не смею, а, конечно, стараюсь доходить. Весь век промежду кукол живешь, все молчишь, все думаешь… Думаешь да думаешь — и вдруг, это, кукла перед тобой как живая стоит! Ну, натурально, потрафить хочется… А в этом разе, уж само собой, одной тряпкой да лайкой мудрено обойтись.

— Значит, вы отчасти и в скульптуру вдаетесь?

— Не знаю, сударь, как на это вам доложить. По-моему, я куклу работаю, — только, разумеется, потрафить стараюсь. Скажем теперича хоть так: желаю я куклу-подьячего сделать — как с этим быть? Разумеется, можно и так: взял чурбашок, наметил на нем глаза, нос, губы, напялил камзолишко да штанишки— и снес на базар продавать по гривеннику за штуку. А можно и иначе. Можнотак сделать, что этот самый подьячий разговаривать будет, мимику руками разводить.

— Вот как!

— Да и это, позвольте вам доложить, еще не самый конец. И подьячие тоже разные бывают. Один подьячий — мздоимец; другой — мзды не емлет, но лакомству предан; третий — руками вперед без резону тычет; четвертый — только о том думает, как бы ему мужичка облагодетельствовать. Вот изволите видеть: только четыре сорта назвал, а уж и тут четыре особенные куклы понадобились.

— Так что если бы всех сортов подьячих в кукольном виде представить, так они, пожалуй, всю мастерскую бы вашу заполонили?

— Мудреного нет-с. Или, например, женский род — сколько тут для кукольного дела материалу сыщется! Одних «щеголих» десятками не сосчитаешь, а сколько бесстыжих, закоснелых, оглашенных, сколько таких, которые всю жизнь зря мотаются и ни к какому безделью пристроить себя не могут! Да вон она-с! извольте присмотреть! — вскрикнул он, указывая в окошко, — это соседка наша, госпожа Строптивцева, по улице мостовой идет! Муж у ней часовым мастерством занимается, так она за него, вишь, устала, погулять вышла! Извольте взглянуть — чем не кукла-с?

Действительно, по другой стороне улицы проходила молодая женщина, несколько странного, как бы забвенного, вида. Идет, руками машет, головой болтает, ногами переплетает. Не то чего-то ищет, не то припоминает: «Чего, бишь, я ищу?»

— Вот этакую-то куклу, да ежели ейный секрет как следует уследить — стоит ли за ней посидеть, спрошу вас, или нет? А многие ли, позвольте спросить, из нашего брата, игрушечников, понимают это? Большая часть так думает: насовал тряпки, лайкой обтянул да платьем прикрыл — и готов женский пол! Да вот, позвольте-с! у меня и образчик отличнейший в этом роде найдется — не угодно ли полюбопытствовать?

Он подошел к стеклянному шкапу и вынул оттуда довольно большую и ценную куклу. Кукла представляла собой богато убранную «новобрачную», в кринолине,

в белом атласном платье, украшенном серебряным шитьем и кружевными тряпочками. Личико у нее было восковое, с нежным румянчиком на щеках; глазки — фарфоровые; волосы на голове — желтенькие. С головы до полу спускался длинный тюлевый вуаль.

— Полковник здесь у набора был, — объяснил Изуверов, -так он заведение мое осматривал, а впоследствии мне эту куклу из Петербурга в презент прислал. Как, сударь, по-вашему, дорого эта кукла стоит?

— Да рублей двадцать, двадцать пять.

— Вот видите-с. Мне этакой суммы и не выговорить, а по-моему, вся ей цена, этой кукле, — грош!

— Что так?

— Пустая кукла — вот отчего-с. Что она есть, что нет ее — не жалко. Сейчас ты у ней голову разбил — и без головы хороша; платье изорвал — другое сшить можно. Ишь у ней глазки-то зря болтаются; ни она сыскоса взглянуть ими, ни кверху их завести — ничего не может. Пустая кукла — только и всего!

В самом деле, рассмотревши внимательно щегольскую петербургскую куклу, я и сам убедился, что эта пустая кукла. Дадут ее ребенку в руки, сейчас же он у нее голову скусит — и поделом. Однако ж я все-таки попытался хоть немного смягчить приговор Изуверова.

— Послушайте! да ведь это «новобрачная»! — сказал я, — чего ж вы хотите от нее?

— Ежели, вашескородие, насчет ума это изволите объяснять, так позвольте вам доложить: хоть и трудно от «новобрачной» настоящего ума ожидать, однако, ежели нет у ней ума, так хоть простота должна быть! А у этой куклы даже и простоты настоящей нет. Почему она «новобрачная»? на какой предмет и в каком градусе состоит? — Какие ответы она на эти вопросы может дать? Что уваль-то у ней на голове, в знак, непорочности, положен? так ведь его можно и снять-с! Что тогда она будет? «новобрачная» или просто пологрудая баба, которая наготою своею глаза прохожим людям застелить хочет?

— Да разве можно от нее ответов требовать, коль скоро она «новобрачная»? ведь она и сама, вероятно, о себе ничего сказать не сумеет.

— Бывает с ними, конечно, и это-с. Бывают промежду ихней сестры такие, что об чем ты с ней ни заговори, она все только целоваться лезет… Так ведь нужно, чтобы и это было сразу понятно. Чтобы всякий, как только взглянул на нее, так

и сказал! «Вот так баба… ах-ах-ах!» А то — на-тко! Нацепил уваль — и думает, что дело сделал! Этакие-то куклы у нас на базаре по гривеннику штука продают. Вон их, чурбашков, сколько в углу навалено!

— Так вы, значит, и простую куклу работаете?

— Без простой куклы нам пропитаться бы нечем. А настоящую куклу я работаю, когда досуг есть.

— И это интересует вас?

— Известно, кабы не было занятно, так лучше бы чурбашки работать: по крайности, полтинников больше в кармане водилось бы. А от этих от «человечков» и пользы для дому не видишь, да не ровен час и от тоски, пожалуй, пропадешь с ними.

— Тоска-то с чего же?

— С того самого и тоска, что тебе вот «дойти» хочется, а дело показывает, что руки у тебя коротки, Хочется тебе, например, чтоб «подьячий»… ну, рассердился бы, что ли… а он, заместо того, только «гневается»! Хочется, чтоб он сегодня — одно, а завтра — другое; а он с утра до вечера все одну и ту же канитель твердит! Хочется, чтоб у «человечков» твоих поступки были, а они только руками машут!

— Еще бы вы чего захотели: чтоб у кукол поступки были!

— Знаю, сударь, что умного в этом хотенье мало, да ведь хотеть никому не заказано — вот горе-то наше какое! Думаешь: «Сейчас взмахну и полечу!» — а «человечек»-то вцепился в тебя, да и не пускает. Как встал он на свою линию, так и не сходит с нее. Я даже такую механику придумал, что людишки мои из лица краснеют — ан и из этого проку не вышло. Пустишь это в лицо ему карминцу, думаешь: «Вот сейчас он рассердится!» — а он «гневается», да и шабаш! А нынче и еще фортель приспособил: сердца им в нутро вкладывать начал, да уж наперед знаю, что и из этого только проформа выйдет одна.

И он показал мне целую связку крошечных кукольных сердец, из которых на каждом мелкими-мелкими буквами было вырезано: «Цена сему серцу Адна копек.».

— Так вот как поживешь, этта, с ними: ума у них — нет, поступков — нет, желаний — нет, а на место всего — одна видимость, ну, и возьмет тебя страх. Того гляди, зарежут. Сидишь посреди этой немоты и думаешь: «Господи! да куда же настоящие-то люди попрятались?»

— Ах, голубчик, да ведь и в заправской-то жизни разве много таких найдется, которых можно «настоящими» Людьми назвать?

— Вот, сударь, вот. Это одно и смиряет. Взглянешь кругом: все-то куклы! везде-то куклы! не есть конца этим куклам! Мучат! тиранят! в отчаянность, в преступление вводят! Верите ли, иногда думается: «Господи! кабы не куклы, ведь десятой бы доли злых дел не было против того, что теперь есть!»

— Гм… отчасти это, пожалуй, и так.

— Вполне верно-с. Потому настоящий человек — он вперед глядит. Он и боль всякую знает, и огорчение понять может, и страх имеет. Осмотрительность в нем есть. А у куклы — ни страху, ни боли — ничего. Живет как забвенная, ни у ней горя, ни радости настоящей, живет да душу изнимает — и шабаш! Вот хоть бы эта самая госпожа Строптивцева, которую сейчас изволили видеть, — хоть распотроши ее, ничего в ней, окромя тряпки и прочего кукольного естества, найти нельзя. А сколько она, с помощью этой тряпки, злодеяниев наделает, так, кажется, всю жизнь ее судить, так и еще на целую такую же жизнь останется. Так вот как рассудишь это порядком — и смиришься-с. Лучше, мол, я к своим деревянным людишкам уйду, не чем с живыми куклами пропадать буду!

— С деревянными-то людишками, стало быть, поваднее?

— Как же возможно-с! С деревянным «человечком» я какой хочу, такой разговор и поведу. А коли надоел, его и угомонить можно: ступай в коробку, лежи! А живую куклу как ты угомонишь? она сама тебя изведет, сама твою душу вынет, всю жизнь тебе в сухоту обратит!

Изуверов высказал это страстно, почти с ненавистью. Видно было, что он знал «живую куклу», что она, пожалуй, и теперь, в эту самую минуту, невидимо изводила его, вынимала из него душу и скулила над самым его ухом.

— У нас, сударь, в здешнем земском суде хороший человек служит, — продолжал он, — так он, как ему чуточку в голову вступит, сейчас ко мне идет. «Изуверов, говорит, исправник одолел! празднословит с утра до вечера — смерть! Сделай ты мне такую куклу, чтоб я мог с нею, заместо исправника, разговаривать!»

— А любопытно было бы исправника вашей работы видеть — есть у вас?

— Материалу покуда у нас, вашескородие, еще не припасено, чтобы господ исправников в кукольном виде изображать. А впрочем, и то сказать: невелику бы забаву и господин секретарь получил, если б я его каприз выполнил. Сегодня он позабавился, сердце себе утолил, а завтра ему и опять к той же живой кукле на расправу идти. Тяжело, сударь, очень даже тяжело промежду кукол на свете жить!

Он помолчал с минуту, вздохнул и прибавил:

— Отец дьякон соборный не однажды говаривал мне: «Прямой ты, Изуверов, дурак! И от живых людишек на свете житья нет, а он еще деревянных плодит!»

Изуверов опять умолк, и на этот раз, по-видимому, даже усомнился, правильно ли он поступил, сообщив разговору философическое направление. Он застенчиво ходил около верстака и полою армяка сметал с него опилки и стружки.

— А не покажете ли вы мне своих «людишек»? — попросил я.

— Помилуйте! отчего же-с! — ответил он, — даже за честь почту-с! Да вот, позвольте, для начала, хоть господ «подьячих» вам отрекомендовать.

— А ну-тка, господин коллежский асессор, вылезай! — воскликнул Изуверов, вынимая из картонки куклу и становя ее на верстак.

Передо мною стоял «человечек» величиною около пяти вершков; лицо и части тела его были удовлетворительно соразмерены; голова, руки и ноги свободно двигались. Тип подьячего был схвачен положительно хорошо. Волоса на голове — черные, тщательно прилизанные, с завиточками на висках и с коком над лбом; лицо, вздернутое кверху, самодовольное, с узким лбом и выдающимися скулами; глаза маленькие, подвижные и блудливые, с сильным бликом; щеки одутловатые, отливающие желтизною и в выдающихся местах как бы натертые кирпичиком (вместо румянца); губы пухлые, красные, масленые, точно сейчас после принятия жирной пищи; подбородок бритый и порезанный; кой-где по лицу рассеяны прыщи. Одет в вицмундир серого казинета, с красным казинетовым же воротником, и притом несколько странного покроя: с узенькими-узенькими фалдочками, падающими почти до земли; при вицмундире серенькие штанишки, коротенькие и отрепанные; карманы везде глубокие, способные вместить содержание сумы нищего, возвращающегося домой после удачного сбора «кусков». В петлице висит серебряной фольги медаль с надписью: «За спасение погибающих». Бедра крутые, женского типа; брюшко

круглое, как комочек, и весело колеблющееся, как будто в нем еще продолжают трепыхаться только что заглотанные живьем куры и другая живность. Одну руку он утвердил фертом на бедре, другую — засунул в карман брюк, как бы нечто в оный поспешно опуская; ноги сложил ножницами. Вообще всей своей фигурой он напоминал ножницы, опрокинутые острым концом вниз. И хотя я не мог доподлинно вспомнить, где именно я эту личность видел, но несомненно, что где-то она мне встречалась, и даже нередко.

— «Мздоимец»? — спросил я.

— Он самый-с; как на ваш взгляд-с?

— Недурен. Только, признаюсь, я не совсем понимаю, зачем вы его в серый вицмундир одели, да еще с красным воротником? Ведь такой формы, сколько мне известно, не существует.

— Для цензуры-с. Ежели бы я в настоящий вицмундир его нарядил — куда бы я с ним сунулся-с? А теперь с меня взятки гладки-с. Там, как хочешь разумей, а у меня один ответ: партикулярный, мол, человек, — только и всего.

— Ну а зачем вы его коллежским асессором прозвали?

— Тоже для цензуры-с. Приезжал ко мне, позвольте вам доложить, в мастерскую человек один — он в Петербурге чиновником служит, — так он мне сказывал, что там свыше коллежского асессора представлять в кукольном виде не дозволяется, а до коллежского асессора будто бы можно. Вот я с тех пор и поставил себе за правило эту самую норму брать.

— Правильно. Ну, так покажите мне теперь вашего коллежского асессора, как он действует.

— Сейчас, вашескородие. Мы ему сперва-наперво экзамент учиним. Сказывай, коллежский асессор: взятки любишь?

— Папп-п-па! — вдруг совершенно отчетливо крикнул «человечек».

Я даже вздрогнул. Как-то удивительно неприятно поражал голос, которым были произнесены эти звуки. Точно попугай в соседней комнате крикнул, да еще в старозаветных помещичьих домах приживалки и попадьи таким голосом говаривали, когда желали веселить своих благодетелей.

— Это значит: люблю-с, — пояснил Изуверов и, вновь обращаясь к «коллежскому асессору», продолжал: — Большую, поди, мзду любишь?

— Папп-п-па!

— Такую, чтоб ограбить? дотла чтобы?

— Паппа! паппа! паппа!

Троекратно произнося этот возглас, коллежский асессор выказывал чрезвычайное волнение: вращал глазами, кивал головой, колыхал животом и хлопал руками по бедрам, точь-в-точь как бьет крыльями птица, которая неожиданно налетела на рассыпанный корм. Мне показалось, что даже было одно мгновение, когда он покраснел.

— Вот вы говорили, что ваши «человечки» поступков не имеют, — сказал я, — а посмотрите, какой неподдельный восторг ваш коллежский асессор выказывает!

— То-то и есть, что не вполне, вашескородие! — возразил Изуверов, — и руками он хлопает, и глазами бегает — это действительно; а в лице все-таки настоящей алчности нету! Вот у нас в магистрате секретарь служит, так тот, как взятку-то увидит, даже из себя весь помертвеет! И взгляд у него помутится, и руки затрясутся, и слюна на губах. Ну, а мой до этого не дошел-с.

— Мне кажется, что вы чересчур уж скромны, Никанор Сергеич. По моему мнению, и ваш «подьячий» — мерзавец хоть куда!

— Нет, сударь, что уж? Дальше — лучше увидите доказательства, что не напрасно я недоволен им. А покуда позвольте мне экзамент продолжать. — Ну, коллежский асессор, сказывай! Что большую мзду ты любишь — это мы знаем, а как насчет малой мзды — приемлешь?

— Папп… взззз…

«Человечек» как будто спохватился и зашипел. Признаться, я подумал, не испортился ли в нем механизм, но Изуверов поспешил разуверить меня.

— Это значит: приемлю и малую мзду, но лишь в тех случаях, когда сорвать больше нечего. — Ну, а как ты насчет того скажешь, чтобы, например, совсем без мзды дело решить?

— Ввзззз…

Коллежский асессор не только зашипел, но даже закружился. Лицо у него совсем налилось красною жидкостью; глаза блудливо бегали в орбитах. Вообще было видно, что самая идея решить дело без мзды может довести его до исступления.

Даже Изуверов возмутился такою наглостью и строго покачал головой.

— Как посмотрю я на тебя, «Мздоимец», — сказал он, — так ты жаден, так жаден, что, кажется, отца родного за взятку продать готов?

— Папп-па! папп-па! папп-па!

— А под суд за это попасть хочешь?

— Взззз…

— Не любишь? Конечно!.. Кому под суд попасть хочется! Какой ни на есть пансион, хоть грош, а все-таки заслужить лестно! Ты, поди, уж и деревнюшку для себя присмотрел?

— Папп-па!

— Наберешь взятков, женишься, уедешь в вотчину, станешь деток зоблить, крестьян на барщину гонять, в праздники на крылосе за обедней подпевать!

— Папп-па!

— И вдруг кондрашка?!

— Взззз…

— Не любишь? Ничем его так, вашескородие, огорчить нельзя, как ежели о смертном часе напомнить. Ну, ладно, коллежский асессор! Покуда что, а мы тебя теперь с одним человечком сведем…

Изуверов отыскал другую картонку и вынул оттуда «мужика».

Мужик был совсем настоящий и, по-видимому, даже зажиточный. Борода длинная, с сильною проседью; волосы, обильно вымазанные коровьим маслом; на плечах — синий армяк, подпоясанный красным кушаком, на ногах — совсем новенькие лапти. Из-за пазухи у него высовывались куры, гуси, утки, индюшки, поросята, а в одном из карманов торчала даже целая корова. Изуверов поставил его сначала поодаль от коллежского асессора.

— Ну, что, мужичок! виноват?

— Мм-му-у!

— А коли виноват — становись, значит, на коленки!

Он поставил мужика на колени и обратил лицом к коллежскому асессору.

— Ползи!

Мужик пополз и остановился перед «Мздоимцем». Коллежский асессор сначала отвернул голову в сторону, притворяясь, будто не видит просителя; но после несколько раз повторенных «мм-му-у!» постепенно начал взглядывать по направлению виноватого и наконец вдруг плотоядно и пронзительно взвизгнул:

— Папп-па!

И тотчас же вырвал у мужика из-за пазухи гуся, которого тут же, при неистовом гоготании птицы, живьем и сожрал.

— Кланяйся же! кланяйся, мужичок! — поощрял Изуверов, — проси прощенья… вот так! виноват, мол, ваше высокородие! не буду!

— Мму-у-у! мму-у-у! мму-у-у! — твердил мужичок.

Поощренный этим, коллежский асессор словно остервенился. Откинулся всем корпусом назад и некоторое время стоял в этой позе, как бы разглядывая свою жертву; потом начал раскачиваться из стороны в сторону, наливаясь при этом кровью, и наконец со всех ног бросился на мужика и принялся его теребить и грабить. Все это было проделано до такой степени живо, что у меня даже волосы встали дыбом. «Мздоимец» повытаскал из-за пазухи мужика всех курят, выволок из кармана за рога корову, потом вывоpотил другой карман и нашел там свинью, которая со страху сейчас же опоросилась десятью поросятами, и при всякой находке восклицал:

— Папп-па! папп-па! папп-па!

Мужик же в умилении вторил ему:- Мму-у-у!!

Наконец «Мздоимец» отцепился, и мужик, думая, что вина ему уж прощена, тоже начал проворно становиться на ноги. Однако ж не тут-то было. Коллежский асессор опять что-то вспомнил (и, по-видимому, самое важное) и энергично замахал руками, указывая мужику на лапти. Мужик сконфузился, как будто его уличили в плутне; затем беспр